

## Рассказ Пиркса

Фантастические романы? Да, я их люблю, но только плохие. Вернее, не то что плохие, а выдуманные. На ракете у меня всегда есть под рукой книжки в этом духе, чтобы на досуге прочесть пару страниц, хоть даже из середины, а потом отложить. Хорошие – совсем другое дело; я их читаю только на Земле.

Почему? Откровенно говоря, толком не знаю. Не задумывался над этим. Хорошие книги всегда правдивы, даже если в них описываются события, которых никогда не было и не будет. Они правдивы в другом смысле – если в них говорится, к примеру, о космонавтике, то говорится так, что словно чувствуешь эту тишину, которая совсем не похожа на земную, это спокойствие, такое абсолютное, нерушимое... И что бы в них ни изображалось, а мысль всегда одна – человек там никогда не будет чувствовать себя как дома.

На Земле ведь все какое-то случайное – дерево, стена, сад, одно можно заменить другим, за горизонтом открывается другой горизонт, за горой – долина; а там все выглядит совсем иначе. На Земле людям никогда не приходит в голову, до чего это ужасно, что звезды неподвижны: лети хоть целый год на предельной скорости – и никаких перемен не заметишь. Мы на Земле летаем и ездим, и нам кажется, что мы знаем, что такое пространство.

Этого не передашь словами. Помню, однажды возвращался я из патрульного полета, где-то у Арбитра слышал отдаленные разговоры – кто-то с кем-то ругался из-за очереди на посадку – и случайно заметил другую ракету. Парень думал, что он один в космосе. Он так кидал свой бочонок, будто припадочный. Все мы знаем, как это бывает: пробудешь пару дней в космосе, и одолевает тебя нестерпимая охота что-нибудь сделать, все равно что – дать полный ход, помчаться куда-нибудь, крутануться на большом ускорении так, чтоб язык высунуть... Прежде я думал, что это вроде неприлично – человек не должен чересчур потворствовать себе. Но, по сути дела, тут лишь отчаяние, лишь охота показать этот язык космосу. Космос не меняется так, как меняется, к примеру, дерево, и поэтому, наверное, трудно с ним свыкнуться.

Ну вот, хорошие книги как раз об этом и говорят. Ведь обреченные на смерть не станут читать описание агонии – так и мы все слегка побаиваемся звезд и не хотим слышать о них правду, когда оказываемся среди них. Это уж точно – тут самое лучшее то, что отвлекает внимание; но мне, по крайней мере, больше всего подходят именно вот такие звездные истории – ведь в них все, даже космос, становится таким добропорядочным... Это добропорядочность для взрослых, – конечно, там есть катастрофы, убийства и всякие другие ужасы, но все равно они добропорядочные, невинные, потому что с начала до конца выдуманные: тебя стараются напугать, а ты только посмеиваешься.

То, что я вам расскажу, – это и есть вот такая история. Только со мной она вправду случилась. Ну да это неважно.

Было это в Год Спокойного Солнца. Как обычно, в этот период делали генеральную уборку в Солнечной системе, подбирали и выметали массу железного лома, который кружится на уровне орбиты Меркурия; на шесть лет, пока строили большую станцию в его

перигелии, там набросали в космос кучу старых поломанных ракет, потому что работы велись по системе Ле Манса, и, вместо того чтобы сдавать эти трупы ракет на слом, ими заменяли строительные леса. Ле Манс был сильнее как экономист, чем как инженер: станция, построенная по его системе, действительно обходилась втрое дешевле, чем обычная, но доставляла такую уйму хлопот, что после Меркурия никто уже не соблазнялся этой «экономией». Но тут Ле Мансу пришла в голову идея – отправить этот ракетный морг на Землю: чего ж ему крутиться в пространстве до скончания веков, если его можно переплавить в мартенах? Но чтобы эта идея окупалась, приходилось посылать для буксирования такие ракеты, которые были немногим лучше этих трупов.

Я был тогда патрульным пилотом с вылетанными часами, а это означает – был им лишь на бумаге и по первым числам, когда получал зарплату. А летать мне до того хотелось, что я согласился бы и на железную печку, лишь бы у нее была хоть какая-нибудь тяга; поэтому нечего удивляться, что, еле успев прочесть объявление, я отправился в бразильский филиал Ле Манса.

Не хочу утверждать, что экипажи, которые формировал Ле Манс (или, вернее, его агенты), уподоблялись кадрам иностранного легиона или разбойничьему сброду – такие типы вообще не летают. Но сейчас люди редко отправляются в космос, чтобы искать приключений: их там нет, по крайней мере в принципе нет. Значит, на такой вот полет решаются либо с отчаяния, либо вообще как-то случайно; и это уже самый плохой материал, потому что служба наша требует больше стойкости, чем морская, и тем, кому все безразлично, не место на ракете. Я не занимаюсь психологическими изысканиями, а просто хочу объяснить, почему я уже после первого рейса потерял половину команды. Мне пришлось уволить техников, потому что их спойл телеграфист, маленький метис, который придумывал гениальнейшие способы, как контрабандой протащить алкоголь на ракету. Этот тип играл со мной в прятки. Запускал пластиковые шланги в канистры... впрочем, это неважно. Я думаю, он и в реактор запрятал бы виски, если б это было возможно. Воображаю, до чего возмутили бы такие истории пионеров астронавтики! Не пойму, почему они верили, что сам по себе выход на орбиту превращает человека в ангела. Этот метис родом из Боливии подрабатывал продажей марихуаны и делал мне все назло просто потому, что его это развлекало. Но у меня бывали парни и похуже.

Ле Манс был важной персоной, деталями не интересовался, а только установил финансовые лимиты, и мало того, что мне не удалось укомплектовать экипаж, я еще вынужден был дрожать над каждым киловаттом энергии; никаких резких маневров, ураганографы после каждого рейса проверялись, словно бухгалтерские книги, – не уплыл ли куда, упаси боже, десяток долларов, превратившись в нейтроны. Тому, что я тогда делал, меня нигде не обучали; нечто подобное, может быть, творилось лет сто назад, на старых корытах, курсировавших между Глазго и Индией. Я, впрочем, и тогда не жаловался, а теперь, как вспомню об этом, так, стыдно признаться, расчувствуюсь.

«Жемчужина ночи» – ну и имечко! Корабль потихоньку разваливался, весь рейс мы только и делали, что искали то течь, то короткое замыкание. Каждый старт и каждая посадка совершались вопреки законам – не только физики; наверное, у этого лемансовского агента были знакомства в порту Меркурия, иначе любой контролер немедленно опечатал бы у нас все – от рулей до реактора.

Ну вот, выходили мы на охоту в перигелий, искали радаром остовы ракет, а потом подтягивали их и формировали «поезд». На меня тогда сваливалось все сразу: скандалы с техниками, вышвыривание бутылок в пространство (там и сейчас полным-полно «Лондон Драй Джин») и дьявольская математика – ведь во время рейса я только и делал, что изыскивал приближенные решения задачи многих тел. Но больше всего, как обычно, было пустоты. В пространстве и во времени.

Я запирался в каюте и читал. Автора не помню, какой-то американец, в названии было что-то о звездной пыли – нечто в этом духе. Не знаю, как эта книга начиналась, – я стал читать примерно с середины; герой находился в камере реактора и разговаривал по телефону с пилотом, когда раздался крик: «Метеоры за кормой!» До этой минуты не было тяги, а тут он вдруг увидел, что огромная стена реактора, сверкая желтыми глазами циферблатов, наплывает на него с возрастающей быстротой: это включились двигатели, и ракета рванулась вперед, а он, вися в воздухе, по инерции сохранял прежнюю скорость. К счастью, он успел оттолкнуться ногами, но ускорение вырвало у него трубку из рук, и он повис на телефонном шнуре; когда он упал, распластавшись, эта трубка качалась над ним, а он делал нечеловеческие усилия, чтобы ее схватить, но, конечно, он весил тонну и не мог пальцем шевельнуть, потом как-то зубами поймал ее и отдал команду, которая их спасла.

Эту сцену я хорошо запомнил, а еще больше мне понравилось, как описано прохождение сквозь метеоритный рой. Облако пыли покрыло, заметьте, третью часть неба, только самые яркие звезды просвечивали сквозь пылевую завесу, но это еще ничего, а вот вскоре герой увидел – на экранах, конечно, – что из этого желтого тайфуна исходит бледно светящаяся полоса с черной сердцевинкой; уж не знаю, что это должно было означать, но только я наплакался со смеху. Как он все это прелестно себе вообразил! Эти тучи, тайфун, эта трубка – я прямо воочию видел, как парень болтается на телефонном шнуре, – ну а что в каюте его ждала необыкновенно красивая женщина, это уж само собой разумеется. Была она тайным агентом какого-то общества космической тирании или, может, боролась против этой тирании, уж не помню. Во всяком случае, она была красива, как положено.

Почему я так распространяюсь об этом? Да потому, что это чтиво меня спасало. Метеоры? Да ведь я остовы ракет по двадцать-тридцать тонн искал неделями и половину из них даже в радаре не увидел. Легче заметить летящую пулю. Мне вот однажды пришлось схватить за шиворот моего метиса, когда мы были в невесомости; это наверняка труднее, чем тот номер с телефонной трубкой, – мы ведь оба парили в воздухе, – но не так эффектно. Похоже, что я начал брюзжать. Сам вижу. Но такая уж эта история.

Двухмесячная охота кончилась, у меня на буксире было сто двадцать – сто сорок тысяч тонн мертвого металла, и я шел в плоскости эклиптики на Землю. Не по правилам? Ну, ясно! У меня не было горючего для маневрирования, я ведь уже говорил. Приходилось тащиться без тяги больше двух месяцев.

И тут случилась катастрофа. Нет, не метеоры – это ведь не в романе происходило. Свинка. Сначала техник, обслуживавший реактор, потом оба пилота сразу, а потом и остальные: морды распухли, глаза как шелки, высокая температура, о вахтах уж и

говорить не приходилось. Какой-то взбесившийся вирус притащил на палубу Нгей, негр, который на нашей «Жемчужине ночи» был коком, стюардом, экономом и еще там чем-то. Он тоже заболел, а как же! Может, в Южной Америке у детей не бывает свинки? Не знаю. В общем, у меня оказался корабль без экипажа.

Остались на ногах лишь телеграфист да второй инженер; но телеграфист с утра, прямо к завтраку, напивался. Собственно, не совсем напивался – то ли голова у него была такая крепкая, то ли он тянул понемножку, но в общем двигался он вполне прилично, даже когда не было силы тяжести (ее не было почти все время, не считая поправок курса). Алкоголь сидел у него в глазах, в мозгу, и каждое свое распоряжение, каждый приказ мне приходилось неустанно контролировать. Я мечтал о том, как я его отколочу, когда мы приземлимся; на ракете я не мог себе этого позволить, да и вообще – как будешь бить пьяного? В трезвом состоянии это был зауряднейший тип, опустившийся, недомытый, и у него была милая привычка ругать самыми мерзкими словами то одного, то другого – при помощи азбуки Морзе. Ну да, сидит себе за столом в кают-компани и выстукивает пальцем; его раза два чуть не избили, все ведь понимали морзянку, а припрешь к стенке – он божится, что это у него такой тик. От нервов. Что это само собой получается. Я ему велел прижимать локти, так он вел передачу ногой или вилкой – художник был в своем роде.

Единственным вполне здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но оказалось, знаете ли, что он инженер-дорожник. Нет, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на половинный оклад, и агенту это было вполне достаточно, а мне и в голову не пришло экзаменовывать его, когда он явился на борт. Агент только спросил его, разбирается ли он в машинах. Он сказал, что да; ведь он и вправду разбирался в машинах – в дорожных. Я велел ему нести вахту. Он планету от звезды не мог отличить. Теперь вы уже более или менее понимаете, каким образом Ле Манс делал большие дела. Правда, я тоже мог оказаться командиром подводной лодки; и, если б можно было, я, наверное, разыграл бы эту роль и заперся в своей каюте. Но я не мог этого сделать. Агент не был сумасшедшим. Он рассчитывал если не на мою лояльность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться на Землю; сотня тысяч тонн в пространстве ничего не весит, и

если избавишься от груза, то скорость не увеличится ни на миллиметр в секунду; ну а я был не таким уж строптивым, чтобы сделать это просто так.

Вообще-то мне и такие мысли приходили в голову, когда я по утрам таскал то одному, то другому вату, мази, бинты, спирт, аспирин; только и было у меня удовольствия, что эта книжка о любви в пространстве, среди метеоритных тайфунов. Я некоторые абзацы перечитал по десять раз. Там были все ужасные происшествия, какие только возможно представить, – электронные мозги бунтовали, у пиратских агентов передатчики были вмонтированы в черепа, красивая женщина происходила из другой Солнечной системы; но о свинке я не нашел ни слова. Ясное дело – тем лучше для меня. Мне она и так надоела. Иногда мне даже казалось, что космонавтика – тоже.

В свободные минуты я старался выследить, где телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но мне кажется, что он и вправду умышленно выдавал мне некоторые места, когда спиртное там подходило к концу, – просто для того,

чтобы я не пал духом и не махнул рукой на его пьянство. Потому что я и по сей день не знаю, где был его главный тайник. Может, этот тип был уж так пропитан алкоголем, что основной запас носил прямо в себе? Ну, в общем, я искал, ползая по кораблю, словно муха по потолку, плавал по корме, по центральной палубе, как бывает иногда во сне, и чувствовал, что я один как перст. Вся братия лежала с распухшими физиономиями в каютах, инженер торчал в рулевой рубке, изучая по лингафону французский язык, было тихо, как на зачумленном корабле, и лишь иногда по вентиляционным каналам доносилось рыдание или пение этого боливийского метиса. Под вечер его разбирало, он ощущал ужас бытия.

Со звездами я мало имел дела, если не считать той книжки. Некоторые куски я знал наизусть – к счастью, они уже улетучились у меня из головы. Я дожидаться не мог, когда кончится эта свинка, потому что такая жизнь на манер Робинзона уж очень мне докучала. Инженера-дорожника я избегал, хоть по-своему это был даже довольно порядочный парень и клялся мне, что, если б не ужасные финансовые передрыги, в которые его втянули жена с шурином, он нипочем не подписал бы контракта. Однако был он из тех людей, каких я не переношу, – которые откровенничают без всяких ограничений и торможений. Не знаю, может, он только ко мне испытывал такое чрезвычайное доверие, но вряд ли, потому что о некоторых вещах ну просто невозможно говорить, а он способен был сказать все, я прямо корчился; к счастью, «Жемчужина ночи» была большая, двадцать восемь тысяч тонн, – было где спрятаться.

Вы, наверное, догадываетесь, что это был мой первый и последний рейс для Ле Манса. С тех пор я уже больше не позволял так нахально себя надувать, хоть во всяких переделках побывал. Я бы и не рассказывал об этом, довольно конфузном все же куске моей биографии, если б он не был связан с другой, вроде бы не существующей стороной космонавтики. Помните, я ведь предупредил вначале, что это будет история словно из той книжки.

Метеоритное предупреждение мы получили поблизости от орбиты Венеры, но телеграфист то ли проспал, то ли просто не принял его – в общем, я лишь на следующее утро услышал эту новость в известиях, которые передавала космолокаторная станция Луны. Честно говоря, вначале мне это показалось совершенно неправдоподобным. Драконида давно прошли, пространство было чистым, метеоритные рои вообще ходят регулярно; правда, Юпитер любит всякие штучки с пертурбациями, но на этот раз он был не при чем – радиант был совсем другой. Предупреждение, впрочем, было лишь восьмой степени, пылевое, плотность роя очень небольшая, процент крупных осколков ничтожный; ширина фронта, правда, значительная. Когда я посмотрел на карту, то понял, что мы уже торчим в этом так называемом рое добрый час, а то и два. Экраны были пусты. Я особенно не беспокоился; непривычно прозвучало лишь второе сообщение, в полдень: радиолокаторы установили, что рой – внесистемный.

Это был второй такой рой, с тех пор как существует космолокация. Метеоры – это остатки комет, и они ходят себе по удлинённым эллипсам, привязанные гравитацией к Солнцу, словно игрушки на нейлоновых шнурках. А рой внесистемный, то есть пришедший в Солнечную систему из Галактики, – это сенсация; правда, больше для астрофизиков, чем для пилотов. Есть, конечно, и для нас разница, хоть вообще-то небольшая – в скорости. Внутрисистемный рой не может иметь большой скорости – не больше чем параболическую либо эллиптическую. Зато рой, входящий в

Солнечную систему извне, может иметь – и обычно имеет – гиперболическую скорость. Но практически различие невелико, поэтому возбуждение охватывает метеоритологов и астробаллистиков, а не нас.

Сообщение о том, что мы влезли в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления. Я сказал об этом, когда мы обедали, как всегда, включив двигатели на малую тягу: они давали поправку на курс, а тем временем даже слабое притяжение облегчало нам жизнь. Не надо было сосать суп через соломинку и впихивать себе в рот пасту из баранины, нажимая на тубик. Я всегда был сторонником нормального человеческого питания.

Зато инженер очень испугался. То, что я говорил о рое, словно о летнем дождичке, он склонен был счесть признаком помешательства. Я ему коротко объяснил, что, во-первых, рой пылевой и сильно разреженный и шансов столкнуться с осколком, который способен повредить корабль, меньше, чем шансов погибнуть от того, что тебе в театре свалится люстра на голову; во-вторых, все равно ничего нельзя сделать, потому что «Жемчужина» не может провести маневр расхождения; в-третьих, курс наш по чистой случайности почти совпадает с траекторией роя, – значит, опасность столкновения уменьшается еще в несколько сот раз.

Что-то не похоже было, чтоб я его убедил, но мне уже надоела психотерапия, и я предпочел сосредоточить внимание на телеграфисте, то есть отрезать его хоть на пару часов от запасов спиртного, потому что в конце-то концов в рое он был нужнее, чем вне его. Больше всего я боялся сигнала SOS. Кораблей здесь было порядочно, мы уже пересекли орбиту Венеры – на этой территории шло весьма оживленное движение, и не только грузовых ракет. Я сидел у радиации, держа телеграфиста при себе, до шести часов палубного времени, – значит, больше четырех часов на пассивном перехвате; к счастью, обошлось без сигнала тревоги. Рой был так разрежен, что приходилось буквально часами вглядываться в радарные экраны, чтобы заметить какие-то почти неуловимые микроскопические искорки; да и то я не мог бы поручиться, что эти зеленые привиденьица не были просто обманом зрения от усталости. Тем временем уже не только радиант, но и весь путь этого гиперболического роя, который даже имя успел получить – Канопиды (от звезды близ радианта), вычислили на Луне и на Земле, и было известно, что он не достигнет орбиты Земли, минует ее, выйдет из нашей системы вдалеке от больших планет и как появился, так и исчезнет в бездне Галактики, чтобы никогда уже к нам не вернуться.

Инженер-дорожник, продолжая тревожиться, то и дело заглядывал в радиорубку, а я выгонял его, требуя, чтобы он следил за рулями. Разумеется, это было чисто фиктивное задание – у нас не было тяги, а без тяги управлять нельзя, ну а, кроме того, он не смог бы выполнить и простейшего маневра, да я бы никогда ему этого и не доверил. Но мне хотелось его чем-нибудь занять и себя избавить от бесконечных приставаний. А то он стремился выяснить, проходил ли я уже сквозь метеоритные рои, да сколько раз, да пережил ли в связи с этим катастрофы, и серьезные ли, и есть ли шансы спастись в случае столкновения... Вместо ответа я ему дал «Основы космологии и космодромии» Краффта; инженер книгу взял, но, кажется, даже и не раскрывал ее – он ведь жаждал доверительных признаний, а не сухих сведений.

Все это происходило, напоминая вам, на корабле, где сила тяжести отсутствовала. В этих условиях движения людей, даже трезвых, довольно забавно изменяются – всегда надо помнить о каком-нибудь поясе, о пристежке, иначе, нажав на карандаш при писании, рискуешь взлететь под потолок, а то и шишку себе набить. У телеграфиста была своя система: он таскал в карманах массу всяких гирек, гаек, ключей, и когда оказывался в затруднительном положении, повиснув между потолком, полом и стенами, то просто лез в карман и швырял первый попавшийся предмет, чтобы плавно отлететь в противоположную сторону. Способ это был надежный и всегда подтверждал правильность ньютоновского закона действия и противодействия, однако он доставлял мало удовольствия окружающим, потому что брошенные гирьки и гайки рикошетом отлетали от стен, и иной раз эти штучки, способные весьма чувствительно стукнуть, подолгу носились в воздухе. Я говорю об этом, чтобы придать дополнительный оттенок колориту нашего путешествия.

В пространстве тем временем шло усиленное движение; многие пассажирские корабли на всякий случай в соответствии с правилами изменяли трассы. Луне было с ними немало возни; автоматические передатчики, которые морзянкой передают орбитальные и курсовые поправки, рассчитанные на больших стационарных вычислительных машинах, без усталости строчили сериями сигналов в таком темпе, что на слух не воспримешь. Да и фония была переполнена голосами – пассажиры за бешеные деньги сообщали встревоженным родственникам, что отлично себя чувствуют и никакой опасности нет; Луна Астрофизическая передавала очередные сведения о зонах сгущения в метеоритном рое, о его предполагаемом составе – словом, программа была разнообразная и скучать у репродуктора особенно не приходилось.

Мои космонавты со свинкой, уже узнавшие, разумеется, о гиперболическом рое, то и дело звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты, заявив, что опасность, а именно пробоину или потерю герметичности, они легко распознают по отсутствию воздуха.

Около одиннадцати я отправился перекусить в кают-компанию; телеграфист, который, кажется, только этого и ждал, исчез, будто растаял, а я слишком устал, чтобы его искать и даже чтобы думать о нем. Инженер отбыл вахту; он уже немного успокоился и опять жаловался в основном на шурину, а уходя к себе (зевал он, как кит), сказал мне, что левый экран радара, должно быть, испортился: там в одном месте какая-то зеленая искра. Сообщив это, он удалился; я приканчивал холодную говядину из консервной банки – и вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, окаменел.

Инженер разбирался в показаниях радара, как я в асфальте. Этот «испорченный» экран... В следующее мгновение я мчался к рулевой рубке. Это так говорится, а на деле я двигался с той скоростью, какая возможна, если ускорение получаешь, только хватаясь за что-нибудь руками либо отталкиваясь ногами от выступов стен или потолка. Рулевая, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена, огни на пультах погасли, контрольные сигналы реактора еле мерцали, как сонные светлячки, и только по экранам радаров неустанно вращались водящие лучи; я уже с порога смотрел на левый экран.

В верхнем правом его квадранте светилась неподвижная точка; собственно, как я увидел вблизи, пятнышко величиной с мелкую монету, сплюснутое, как линза,

идеально правильное по форме, светящееся зеленым фосфорическим светом, словно маленькая, лишь с виду неподвижная рыбка в океане пустоты. Если б это увидел нормальный вахтенный, – но не теперь, не теперь, а полчаса назад! – он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы командира, запросил бы у этого корабля данные о курсе и назначении, но у меня не было вахтенных, я опоздал на полчаса, я был один, так что делал, ей-богу, все сразу – затребовал данные у корабля, зажег позиционные огни, включил передатчик, начал разогревать реактор, чтобы можно было в любой момент дать тягу (реактор был холодный, словно давным-давно окоченевший покойник), – ведь время не ждало! Я успел даже пустить в ход подручный полуавтоматический калькулятор, и оказалось, что курс того корабля почти совпадает с нашим, разница была в долях минуты, вероятность столкновения, в пустоте и без того исчезающе малая, практически равнялась нулю.

Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и начал сверкать на него морзянкой из палубного лазера. Он находился за нами на расстоянии около девятисот километров, – значит, невероятно близко, и я уже, по правде говоря, видел себя в Космическом трибунале (конечно, не за «доведения до катастрофы», а просто за нарушение восьмого параграфа Кодекса космологии, именуемого ОС – опасное сближение). Думаю, что и слепой увидал бы мои световые сигналы. Корабль этот вообще так упорно торчал у меня в радаре и все не оставлял в покое «Жемчужину», а, наоборот, даже понемногу к ней приближался, лишь потому, что мы с ним имели сходящиеся курсы. Это были почти параллельные трассы; он передвигался уже по краю квадранта, потому что шел быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую; действительно, два замера с десятисекундным интервалом показали, что он делает девяносто километров в секунду. А мы делали от силы сорок пять!

Корабль не отвечал и приближался; он выглядел уже внушительно, даже слишком внушительно. Светящаяся зеленая линза, видимая сбоку, острое веретенце... Я глянул на радарный дальномер: уж очень что-то вырос этот корабль. Оказалось – четыреста километров. Я захлопал глазами: с такого расстояния любой корабль выглядит как запятая. «Эх, чтоб ей, этой „Жемчужине ночи“! – подумал я. – Все здесь не как положено». Я перевел изображение на маленький вспомогательный радар с направленной антенной. Корабль выглядел все так же. Я обалдел. «Может, это, – вдруг подумал я, – тоже такой „поезд Ле Манса“, как наш? Штук этак сорок ракетных остовов, один за другим, отсюда и размеры... Но почему он так похож на веретено?»

Радароскопы работали, автоматический дальномер отстукивал да отстукивал: триста километров... двести шестьдесят... двести...

Я начал еще раз пересчитывать курсы на приборе Гаррельсбергера, потому что это уже пахло опасным сближением. Известно, что с тех пор как на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, – а суда продолжают тонуть. И опять получилось, что он пройдет у меня под носом, на расстоянии этак тридцати-сорока километров. Я проверил оба передатчика – автомат, работающий на радиочастотах, и лазерный. Оба они были исправны, но чужой корабль молчал.

До тех пор меня все еще терзали угрызения совести: ведь некоторое время мы летели

вслепую – пока инженер рассказывал мне о своем шурине и желал спокойной ночи, а я поглощал говядину, – потому что некому было работать и я все делал сам, но теперь у меня будто пелена с глаз спала. Охваченный праведным гневом, я уже видел истинного виновника опасности в этом глухом, молчаливом корабле, который пер себе на гиперболической скорости через сектор и не изволил даже отвечать на прямые настойчивые обращения!

Я включил фонию и начал его вызывать. Я требовал то того, то другого: чтобы он зажег позиционные огни и пустил сигнальные ракеты, чтобы сообщил свое название, место назначения, фамилию арматора – все, конечно, в условных сокращениях; а он летел себе спокойно, тихо, ни на йоту не меняя ни скорости, ни курса, и был уже всего в восьмидесяти километрах от меня.

Пока он держался по бакборту, но все заметнее обгонял меня – ведь он шел вдвое быстрее; и я знал, что, поскольку при подсчетах на калькуляторе не принималась во внимание угловая поправка, мы при расхождении окажемся на пару километров ближе, чем вычислено. Менее чем в тридцати километрах наверняка, а чего доброго и в двадцати. Мне следовало тормозить, потому что нельзя допускать такого сближения, но я не мог. За мной ведь тянулось сто с чем-то тысяч тонн ракетных трупов; сначала мне пришлось бы отцепить всю эту рухлядь, сам я с этим не справился бы, а экипаж занимался свинкой, так что о торможении нечего было и думать. Тут могла бы пригодиться скорее философия, чем космодромия: стоицизм, фатализм, а если калькулятор уже совсем заврался, то, пожалуй, даже начатки эсхатологии.

На расстоянии двадцати двух километров тот корабль уже явно начал обгонять «Жемчужину». Я знал, что теперь дистанция будет возрастать, так что все было вроде в порядке; до тех пор я смотрел только на дальномер, потому что его показания были самыми важными, и лишь теперь снова глянул на радароскоп.

Это был не корабль, а летающий остров, вообще неизвестно что. На расстоянии двадцати километров он был величиной больше чем с мою ладонь; идеально правильное веретено превратилось в диск – нет, в кольцо!

Ясное дело, вы уже давно подумали, что это был корабль «пришельцев», – ну, поскольку он был длинной в десять миль... Легко сказать, но кто же верит в корабли «пришельцев»? Первым моим побуждением было догнать его. Нет, правда! Я ухватился за рычаг главной тяги, но не шевельнул его. У меня за кормой было кладбище на буксире, ничего бы из этого не вышло. Я вскочил с кресла и через узкую шахту пробрался в маленькую астрономическую каюту, вмонтированную в броню, как раз над рулевой рубкой. Там, прямо под рукой, было все, что мне нужно, – бинокль и ракеты. Я пустил три, одну за другой, примерно по курсу этого корабля, и, как только вспыхнула первая, начал его искать. Он был большой, как остров, но я его не сразу разглядел – ракета попала в поле зрения, и блеск ее ослепил меня, – пришлось выждать, пока я смогу видеть. Вторая ракета вспыхнула далеко в стороне, и это мне ничего не дало; третья зажглась высоко над кораблем. В ее неподвижном, очень белом свете я его наконец увидел.

Смотрел я на него не больше пяти-шести секунд, – ракета вдруг, как это иной раз случается, вспыхнула ярче и погасла. Но в эти мгновения я разглядел сквозь

ночной восьмидесятикратный бинокляр очень слабо, призрачно, но все же отчетливо освещенное с высоты темное металлическое тело: я видел его будто с расстояния нескольких сот метров. Корабль еле помещался в поле зрения; в самом его центре мерцало несколько звезд, словно там он был прозрачным, как пустой туннель из темной стали, летящий в пространстве. Но в последней яркой вспышке ракеты я успел заметить: это нечто вроде сплюснутого цилиндра, свернутого, как автомобильная шина; я мог смотреть сквозь его пустой центр, хоть он и не находился на оси зрения; этот колосс был повернут углом к линии моего зрения – словно стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно выливать из него жидкость.

Ясное дело, я вовсе не раздумывал над тем, что увидел, а продолжал пускать ракеты; две не зажглись, третья почти сразу погасла, при свете четвертой и пятой я его увидел – в последний раз. Ведь теперь он пересек трассу «Жемчужины» и удалялся все быстрее; он находился уже в ста, в двухстах, в трехстах километрах от меня, и визуальное наблюдение стало невозможным.

Я немедленно вернулся в рулевую рубку, чтобы как следует установить элементы его орбиты; я собирался, сделав это, поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой еще не знала космология; я уже представлял себе, как по начертанному мною маршруту ринутся стаи ракет, чтобы догнать этого гостя из бездны.

Собственно, я был уверен, что он входил в состав гиперболического роя. Глаз в известных обстоятельствах уподобляется фотоаппарату, и образ, хоть на долю секунды представший в ярком свете, потом можно некоторое время не только вспоминать, но и весьма детально анализировать, будто вы все еще видите его. А я увидел в той предсмертной вспышке ракеты поверхность гиганта: она была не гладкая, а изрытая, почти как лунная почва, свет растекался по неровностям, буграм, кратерообразным впадинам; корабль, должно быть, летел вот так уже миллионы лет, входил, темный и мертвый, в пылевые туманности, выходил из них спустя столетия, а метеоритная пыль в десятках тысяч столкновений грызла его, пожирала пустотной эрозией.

Не могу объяснить, откуда взялась у меня эта уверенность, но я знал, что на этом корабле нет ни одной живой души, что катастрофа с ним произошла миллионы лет назад и, может, не существует уже и цивилизация, выславшая его!

Думая обо всем этом, я в то же время на всякий случай, для предельной точности в четвертый, пятый, шестой раз рассчитывал элементы его орбиты и результат за результатом, нажимая на клавишу, посылая в записывающее устройство, потому что мне дорога была каждая секунда: корабль уже выглядел на экране как зеленая фосфорическая запятая, сверкал как неподвижный светлячок в крайнем секторе правого экрана – за две, за три тысячи, за шесть тысяч километров от меня.

Когда я закончил расчеты, он уже исчез. Но мне-то что! Он был мертв, не мог маневрировать, а значит, и не мог никуда удрать, не мог спрятаться: правда, он летел на гиперболической скорости, но его легко мог догнать любой корабль с мощным реактором, а элементы его движения я рассчитал с такой точностью...

Я открыл кассету записывающего устройства, чтобы вынуть ленту и пойти с ней на радиостанцию, – и застыл, внезапно обалдевший, уничтоженный...

Металлический барабан был пуст; лента давно уже, может несколько дней назад, кончилась, новой никто не вложил, и я посылал результаты вычислений в пустоту; они все до одного пропали; не было ни корабля, ни его следа – ничего...

Я ринулся к экранам, потом, право же, хотел отцепить этот мой проклятый балласт, выбросить лемансовские сокровища и пуститься – куда? Сам толком не знал. Наверное в направлении... ну, примерно на созвездие Водолея, но что ж это за цель! А может, все-таки?.. Если я сообщу по радио сектор – в приближении, – а также скорость...

Это следовало сделать. Это было моей обязанностью, самой важной из всех, если вообще у меня имелись еще какие-нибудь обязанности.

Я поднялся лифтом в центральную часть корабля, на радиостанцию, и уже установил было очередность действий: надо вызвать Луну Главную и потребовать право первенства для последующих моих сообщений, поскольку речь идет об информации величайшей важности, – эти сообщения, по-видимому, будет принимать не автомат, а дежурный координатор Луны; затем я дам отчет об обнаружении чужого корабля, который пересек мой курс на гиперболической скорости и, вероятно, входил в состав метеоритного роя. Немедленно потребуют расчет элементов его движения. Мне придется ответить, что расчеты я произвел, но у меня их нет, потому что барабан записывающего устройства вследствие недосмотра был пуст. Тогда потребуют, чтобы я сообщил имя пилота, который первым заметил этот корабль. Но я и это не смогу сообщить, потому что вахту нес инженер-дорожник, а не космонавт; затем, если все это еще не покажется слишком подозрительным, меня спросят, почему я не поручил радисту систематически передавать данные по ходу расчетов; а я должен буду объяснить, что радист не работал, потому что был пьян. Если со мной после этого вообще захотят еще разговаривать через триста шестьдесят восемь миллионов километров, которые нас разделяют, то поинтересуются, почему кто-либо из пилотов не заменил радиста; тогда я отвечу, что весь экипаж болен свинкой. Если мой собеседник до этого еще будет иметь какие-то сомнения, тут уже он уверится, что человек, который среди ночи морочит ему голову насчет корабля «пришельцев», либо не в своем уме, либо пьян. Он спросит, зафиксировал ли я как-нибудь изображение этого корабля – фотографируя его в свете ракет либо записывая показания радара на ферроленте – или, по крайней мере, регистрировал ли я все запросы, с которыми обращался к нему по радио. Но у меня не было ничего, совсем ничего, я слишком спешил, я не думал, что снимки понадобятся, поскольку вскоре земные корабли ринутся к необычайной цели, и не включил записывающих устройств.

Тогда координатор сделает то, что я и сам сделал бы на его месте, – велит мне отключиться и запросит все корабли в моем секторе, не заметили ли они чего-то необычного. Так вот, ни один корабль не мог увидеть гостя из Галактики, я был в этом уверен. Я с ним встретился лишь потому, что летел в плоскости эклиптики, хоть это строжайшим образом воспрещается, так как здесь всегда кружится метеоритная пыль, осколки перемолотых временем метеоров или кометных хвостов. Я нарушил это запрещение, потому что иначе мне не хватило бы горючего для маневров, долженствующих обогатить Ле Манса сотней с лишним тысяч тонн ракетного лома. Значит, мне следовало бы сразу предупредить координатора Луны, что встреча

произошла в запрещенной зоне, а это повлекло бы за собой неприятный разговор в дисциплинарной комиссии Космического трибунала.

Наверное, обнаружение этого корабля значило куда больше, чем разговор в комиссии да хоть бы и наказание, – однако при условии, что корабль действительно догонят. Но вот это-то и казалось мне совсем безнадежным делом. А именно я должен был потребовать, чтобы в плоскость эклиптики, в угрожаемую зону, к тому же еще посещенную гиперболическим роem, бросили на розыски целую флотилию кораблей. Координатор Луны не имел права этого сделать, даже если б захотел; если б он стену лбом прошибал, до утра вызывал КОСНАВ, Международную комиссию по делам исследования космоса и черт знает кого там еще, начались бы заседания и совещания, и если б они проходили бы в молниеносном темпе, то через какие-нибудь три недели уже было бы вынесено решение. Но (это я рассчитал еще в лифте, у меня в ту ночь мысль работала действительно с необычайной быстротой) чужой корабль окажется к тому времени в ста девяноста миллионах километров от места нашей встречи, а значит, за Солнцем, мимо которого пройдет настолько близко, что оно изменит его траекторию, – и пространство, в котором придется его искать, будет размером более десяти миллиардов кубических километров. А то и двадцати.

Так все это выглядело, когда я добрался до радиостанции. Я уселся там и попробовал еще оценить по достоинству – каковы шансы увидеть этот корабль при помощи большого радиотелескопа Луны, самой мощной радиоастрономической установки во всей системе. Но Земля с Луной находились как раз на противоположной стороне орбиты по отношению ко мне, а значит, и к этому кораблю. Радиотелескоп Луны был очень мощный, но все же не настолько, чтобы на расстоянии четырехсот миллионов километров разглядеть тело размером в несколько километров.

На этом вся история и кончилась. Я порвал листки с расчетами, встал и тихонько двинулся в свою каюту с чувством, что совершил преступление. К нам прибыл гость из космоса – визит, который случается раз в миллионы, да нет – в сотни миллионов лет. И из-за инженера с его шурином, из-за моей небрежности он ускользнул у нас из-под носа, чтобы растаять, как призрак, в беспредельном пространстве.

С этой ночи я жил в каком-то странном напряжении целых двенадцать недель – за это время мертвый корабль должен был войти в зону больших планет и навсегда исчезнуть для нас. Я просиживал на радиостанции все мало-мальски свободное время, питая постепенно слабеющую надежду, что кто-нибудь его заметит – кто-нибудь более сообразительный или попросту более счастливый, чем я; но ничего такого не произошло.

Разумеется, я никому об этом не говорил. Человечеству нечасто подвертываются такие случаи. Я чувствую себя виновным не только перед человечеством, но и перед той, другой цивилизацией, и мне не суждена даже слава Герострата, потому что теперь, через столько лет, никто уж мне, к счастью, не поверит. Да я и сам-то иной раз сомневаюсь: может, ничего и не было, кроме холодной, неудобоваримой говядины.